

Геннадий Колодкин

ЖИВИ В КАЙФ

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Геннадий Колодкин

Живи в кайф

«Автор»
2026

Колодкин Г.

Живи в кайф / Г. Колодкин — «Автор», 2026

Не понимаю людей, тревожащихся за своё бессмертие. Убей — не понимаю таких людей. Бессмертие мне представляется мукой. Ведь вечность бессмысленна. В бессмысленной вечности торчать — бессмысленно. Не понимаю.Ну хорошо, если в ад: там хоть при деле, там ты хотя бы привыкаешь к мукам. А если в рай — в бессмысленный, по сути, рай? Вот где уж, наверное, гнездо пороков-растлителей! От скуки — от дичайшей скуки! Ой, редкий садизм. И бессмертная серая скука. Ой, избавьте меня от рая!

© Колодкин Г., 2026
© Автор, 2026

Геннадий Колодкин
Живи в кайф

ЖИВИ В КАЙФ
Эссе

Геннадий Колодкин

1.

Все циклическое повторяется: новые Шариковы гоняют котов. Если нет котов, надо придумать котов.



НЕВЕСОМОСТЬ

Станция «Обухов-9» зависла на геостационаре, покачиваясь в черном океане вакуума, словно поплавок.

В кают-компании пахло озоном, синтетической селедкой и дешевым спиртом, который Полиграф Полиграфович Седьмой умудрялся выгонять из антифриза системы жизнеобеспечения.

Полиграф висел посередине отсека, зацепившись одной ногой в мягком магнитном тапке за поручень. Его комбинезон был расстегнут до пупа, обнажая волосатую, покрытую шрамами от нейрошунтирования грудь. Лицо — скошенное, с нависшими надбровными дугами, созданное по лекалам старых добрых дефективных геномов, — выражало крайнюю степень классовой сосредоточенности.

В руках он сжимал самодельный плазменный шокер.

— Полиграф Полиграфович, — донесся усталый голос из динамика под потолком. Голос принадлежал профессору Персикову-Борменталю, точнее, тому, что от него осталось: оцифрованному сознанию, запертому в сервере станции. — Уймитесь. Вы нарушаете центровку жилого модуля. И прекратите плевать в решетку вентилятора, капли не падают, они возвращаются вам же в физиономию.

— Не учи ученого, голова профессорская, — огрызнулся Полиграф, дернув шеей. Кадык его ходил ходуном. — Ты мне зубы не заговаривай. Я чую. Сидит.

— Кто сидит? — вздохнул процессор.

— Он. В дюзах затаился. Хвостом водит. Вчерась опять проводку на третий гироскоп погрыз. Сволочь пушистая.

Профессор издал звук, похожий на шелест перфокарт. Этот спор длился уже триста лет, менялись лишь номера клонов и емкость накопителей.

— Полиграф. Мы находимся на высоте тридцати шести тысяч километров над поверхностью Земли, которая, к слову, уже полтора века как выжжена радиацией. Здесь нет атмосферы. Здесь абсолютный ноль. И самое главное: на борту нет котов. Кошачий генофонд был полностью утерян во время Третьей Корпоративной. Вы последний биологический объект, не считая гидропонных водорослей.

Полиграф оскалился, обнажив мелкие, желтые, явно не человеческие зубы.

— Врешь, контра. Если кота нет, откель шерсть на фильтрах?

— Это ваша собственная шерсть! Вы линяете от дефицита витамина В!

— Глаза у него зеленые, — не слушая, продолжал Полиграф, и зрачки его расширились, наливаясь древней, тысячелетней мутью. — Сверкнет в темноте за переборкой — и шасть! Дразнится, гадина. Мяукает на ультразвуке. Думает, если невесомость, так я его не достану? Я его, паскуду, к радиатору прижму. Я из него воротник на скафандр сделаю…

Он оттолкнулся от поручня. В невесомости прыжок вышел неуклюжим, мешковатым. Седьмой полетел вперед, загребая воздух волосатыми руками, матерясь и щелкая шокером.

На дальнем конце отсека ничего не было. Только мерцала консоль маневровых двигателей да тихо гудел шарообразный дроид-пылесос марки «Феликс-К».

Дроид мигнул двумя зелеными сенсорами, корректируя курс микроскопическими струйками сжатого газа, и выпустил мягкие щетки для сбора космической пыли. Щетки были пушистыми.

— А-а-а-а! — взвыл Полиграф Седьмой. — Попался, курва!

Дроид, повинуясь алгоритму избегания столкновений, метнулся в сторону вентиляционной шахты. Пластиковый корпус скрипнул.

— Стой, падла! Душили мы их, душили!.. — захлебывался слюной клон, беспорядочно колотя руками и ногами по воздуху. В невесомости инерция играла с ним злую шутку: каждый взмах шокера разворачивал его самого, закручивая в нелепый штопор.

Он летел по отсеку — новый человек, триумф евгеники и космической экспансии, перелицованный пес с человечьим сердцем, не способный жить без врага. Мир вокруг него стал

стерильным, металлическим, лишенным запахов помойки и теплой крови, но древний гипофиз требовал своего.

Если космос молчал — надо было заставить его мяукать.

Если вселенная была пуста — ее следовало заселить котами, чтобы было кого ненавидеть, выслеживать и рвать зубами в тесных шлюзах.

Шокер ударил в корпус дроида. Сноп синих искр осветил круглые иллюминаторы, за которыми равнодушно вращались холодные звезды. Дроид задымился, жалобно пискнул на высокой ноте — почти «мяу» — и затих, кувыркаясь в воздухе обгорелым комком.

Полиграф завис рядом, тяжело дыша. На лице его сияло тупое, первобытное блаженство победителя.

— Отож, — прохрипел он, вытирая рукавом закопченный нос. — Будешь знать, как советскую власть… то есть, это… как вакуум мутить.

Из динамика донесся долгий, металлический вздох профессора:

— Вы уничтожили последний модуль регенерации фильтров, идиот. Через сорок восемь часов нам нечем будет дышать.

Полиграф прижал обугленный шарик дроида к груди, как охотничий трофей, и блаженно закрыл глаза, покачиваясь в ласковой, укачивающей невесомости.

— Ничаво, — пробормотал он, засыпая. — Завтра в реакторном еще поищу. Я слыхал, там выводок… Рыжие, суки. Всех передушу.

2.

Ползут два таракана, один другому и говорит: «Я пишу роман». Тот, который другой, усищами шевелит: «О, писатель!» Тут появляется хозяйка с тряпкой в руке и как ёбнет этой тряпкой по двум тараканам. Так не стало двоих: писателя и читателя.



НЕКРОЛОГ

Они вышли в сумерках — в тот благословенный час, когда тяжелые шаги Двуногой стихали в дальней комнате, а на линолеуме остывали жирные, манящие лужицы вчерашнего супа. Мир казался необъятным, полным крошек и скрытых смыслов.

Они ползли вдоль плинтуса. Тот, что слева, был чуть рыжее, с надломанным левым усом — печать былых скитаний за холодильником. Звали его Иннокентий, хотя для вечности это не имело никакого значения.

— Знаешь, Мирон, — нарушил благоговейную тишину Иннокентий, перебирая лапками по шершавой кромке обоев. — Я ведь пишу роман.

Мирон замер. Его длинные, чуткие усы, способные уловить колебания воздуха от падающей пылинки, дрогнули, описали в полумраке кухни две идеальные дуги и зашевелились с неподдельным трепетом. В фасеточных глазах отразился тусклый свет далекого уличного фонаря.

— О, — выдохнул Мирон, шевеля усами еще выразительнее. — Писатель! О чем же он? О Великом Сахарном Мешке? О Тьме Под Раковиной?

— О тлене, Мирон. О хрупкости хитина в мире титанов. О том, что каждый из нас лишь песчинка под тяжестью…

Договорить он не успел. Концепция романа обрела плоть слишком буквально.

Воздух внезапно сгустился, превращаясь в плотную, свистящую волну. Это было не просто дуновение — это была буря, несущая запах хлорки, мыла «Хозяйственное» и слепой ярости. Тень, закрывшая звезды и потолочный плафон, пала мгновенно.

В руке Хозяйки была Она. Тряпка. Половая, серая, местами протертая до дыр, но мокрая и неотвратимая, как сам Фатум.

Раздался тяжелый, смачный, глухой звук: ХЛЫБЫСЬ!

Линолеум вздрогнул. Брызги грязной воды взметнулись к плинтусу и медленно стекли вниз.

Хозяйка брезгливо хмыкнула, шаркнула тапком и пошла выжимать оружие возмездия в раковину, бормоча под нос что-то о дихлофосе.

На полу остался лишь неровный влажный след. Рукопись так и не была окончена, оставшись неспетым гимном подпольного экзистенциализма. Первая рецензия застряла в воздухе невысказанным восторгом.

Так, в одно ничтожно короткое мгновение, русская тараканья литература понесла невосполнимую утрату.

Не стало двоих: Писателя и Читателя.

Критики, впрочем, как всегда, отсиделись в щелях.

3.

Окурок, зажёванный, лежит скорченно в грязной пепельнице и мучается старыми воспоминаниями: «Вот раньше жили!»



ОКУРОК

Пепельница была похожа на братскую могилу, пережившую локальный апокалипсис. На дне толстым слоем лежал серый, пахнущий сыростью и безнадегой пепел. Повсюду валялись обугленные спички, скомканный трамвайный билет и вишневая косточка.

А в самом центре, нелепо подогнув картонный бок, лежал он.

Фильтр был безнадежно сплющен, изжеван нервными человеческими зубами, испачкан засохшей слюной. Бумага на кончике омерзительно почернела, обнажая обугленные внутренности. Но хуже физических увечий был холод. Проклятый, липкий холод утреннего похмелья, царивший на этой захламленной кухне.

Окурок судорожно, насколько позволяло искалеченное тело, вздохнул остатками табачной души.

— Вот раньше жили… — прошелестел он сквозь трещину в обожженном шве, обращаясь к соседнему «бычку», у которого даже фильтра не было — сплошной плебейский «Беломор». «Беломор» не ответил: он сдох еще в полночь, утонув в лужице пролитого дешевого портвейна.

А ведь было, было время! Всего двадцать минут назад!

Память окурка бережно хранила золотой век. Он помнил, как лежал в плотном, пахнущем типографской краской и роскошью строю таких же белоснежных красавцев. Твердая

пачка «Мальборо» щелкнула, впуская полоску света, пахнущего свободой. Его выбрали первым! Сильные, унизанные серебряными кольцами пальцы бережно извлекли его на свет божий.

О, как он был строен! Как безупречно бел! Какая гордая золотая надпись опоясывала его талию прямо под ацетатным фильтром!

А потом случилось великое таинство. Чирк! Родился огонь. Жаркий, яростный, великолепный. Его кончик занялся рубиновым светом, и он ожил. Он отдавал себя без остатка. Он шипел, пламенел, превращая отборную вирджинию в густой, сизый, бархатный дым. Люди смотрели сквозь него с поволокой, люди говорили о поэзии, о любви, о том, что «мир катится к чертям, но ты сегодня чертовски красива». Он был центром вселенной! Он был медиатором между экзистенциальной тоской и мимолетным кайфом!

Каждая затяжка отзывалась в нем сладостным экстазом. Огонь бежал по его венам, укорачивая жизнь, но наполняя ее высшим, абсолютным смыслом. Он делился теплом. Он был нужен.

А потом…

Окурок содрогнулся. Воспоминание о конце было слишком свежим.

Разговор на кухне свернул не туда. Голоса стали громче, злее. Пальцы, державшие его, напряглись. Вместо размеренных, ласкающих затяжек последовали короткие, жадные, нервные рывки. Человек больше не наслаждался вкусом — человек тупо высасывал никотин, зажав несчастный фильтр передними зубами, дробя его, превращая упругий цилиндр в бесформенное месиво.

И кульминация предательства.

Жар еще пульсировал у самого края бумаги, окурок был готов отдать еще полтора, целых два спасительных миллиметра тепла! Но его с силой, слепо и яростно ткнули лицом в вонючую стеклянную жижу на дне пепельницы. Вдавили. Провернули раз, другой, с хрустом ломая хребет. Огонь с шипением захлебнулся собственной гарью.

Тьма. И равнодушный щелчок зажигалки — человек уже тянулся за новой пачкой.

— Неблагодарные скоты, — прохрипел окурок, глядя в мутный потолок кухни единственной уцелевшей крупицей табака.

Его тело скрутило судорогой сквозняка. Из приоткрытой форточки тянуло свежим воздухом, но для него этот воздух был насмешкой. Он остыл. Он вонял. Он был отработанным материалом.

Рядом тихо потрескивал пепел. Солнечный луч, пробившийся сквозь слой жира на оконном стекле, неловко мазнул по смятому золотому ободку окурка.

«Но я горел, — утешил себя калека, закрывая глаза перед тем, как окончательно превратиться в тлен. — Черт меня дери, я хотя бы горел… Не то что эти… из вейпов».

4.

У лампы башка горячая, а жопа холодная — вот переменный электроток и побежал. Мечется как дурак от горячей башки к холодной жопе.



ЛАМПА

В душном полумраке кухни на третьем этаже разворачивалась термодинамическая трагедия.

В центре этой драмы находилась Лампа. Обычная, стоваттная, с прозрачным брюшком и вольфрамовой душой. Но с характером.

— Ну всё, началось, — проворчал Электрон Седьмой, упираясь отрицательным зарядом в медную жилу кабеля. — Щёлкнули. Погнали, мужики!

Сверху, в районе цоколя, было терпимо. Железо, резьба, патрон — пыльно, темно, а главное — прохладно. Жопа у Лампы, откровенно говоря, была ледяной. Она торчала наружу, контактируя с равнодушным пластмассовым миром люстры, и знать не хотела ни о каком накале страстей.

Зато башка… О, башка Лампы пылала адским пламенем. Вольфрамовая спираль калилась до двух с половиной тысяч градусов. Там кипел вакуум, там рождался свет, там плавились остатки здравого смысла.

И вот в эту нестабильную конструкцию ворвался Переменный Ток.

Ток был парнем нервным, дерганым и крайне внушаемым. Пятьдесят герц — это вам не шутки. Это значит, что пятьдесят раз в секунду у тебя кардинально меняются жизненные ориентиры.

— Опа, жопа холодная! — заорал Ток и ломанулся от резьбы цоколя вниз, к стеклянному куполу. — Спасаться надо! Греться! Там, впереди, жизнь, там тепло!

Миллиарды электронов, сбивая коленки и толкаясь локтями, понеслись по тонким усикам-держателям прямо к спирали. Несутся, визжат, разгоняются.

Влетают в башку.

— А-А-А, Б**ТЬ, ГОРЯЧО! — взвыл Ток, наткнувшись на раскаленный вольфрам. Башка у Лампы трещала от жара, атомы плясали джигу, фотоны с матом вылетали наружу, освещая ободранные обои и недопитый чай на столе.

— Назад! — скомандовал коллективный разум. — В жопу! К холодной, спасительной жопе!

И Ток, сменив фазу на противоположную, с пробуксовкой развернулся и припустил обратно. Назад по проводам, к прохладному, равнодушному цоколю.

Добрался. Выдохнул. Прижался к холодному металлу.

«Хорошо-то как...» — подумал Ток.

Прошла ровно одна сотая секунды.

— Слышь, — шепнул кто-то сзади. — А чё мы тут сидим? Жопа-то холодная. Зябко как-то. Неуютно. А там, наверху — вон как сияет! Движ! Тусовка!

— И то правда! — обрадовался Ток своей короткой памяти. — Погнали греться!

И он снова, как дурак, на полной скорости понесся к горячей башке.

Туда-сюда. Туда-сюда. От горячей башки — к холодной жопе. От ледяного отчаяния — к ожоговой панике.

Лампа снисходительно гудела на низкой ноте «фа»:

— У-у-у-у, дебилы-ы-ы…

Она знала: пока эти суетливые идиоты бегают по ее телу в поисках температурного баланса, она будет королевой этой кухни. Она будет светить.

А Ток продолжал метаться, матерясь на каждом полупериоде, проклиная и эту раскаленную добела башку, и эту бесчувственную синюю жопу, и того мужика в трусах, который забыл выключить на ночь выключатель.

5.

Зажигалка лежит на столе и смотрит сон: чирк-чирк! чирк-чирк!



СОН

Она лежала на холодном лакированном дереве стола, прямо в полосе лунного света. Обычная пластиковая зажигалка — потертый синий бок, немного сколотый снизу край и колесико с мелкими зубчиками, пахнущее гарью и кремнем.

В комнате стояла тишина, нарушаемая только тиканьем настенных часов. Люди спали. Вещи дремали. Но зажигалка видела сон.

Чирк-чирк! — отдалось где-то глубоко внутри ее пустоватого полупрозрачного резервуара.

Во сне не было стола. Не было темноты. Во сне были пальцы — теплые, шероховатые, с запахом табака и ветра. Они сжимали ее уверенно и привычно. Металлическое колесико провернулось под мягкой подушечкой большого пальца.

Чирк-чирк!

И в темноте сна распустился бутон.

О, это было не просто пламя — это было ее дыхание, ее голос, смысл всего ее пластмассового существования. Желто-оранжевый лепесток с пронзительно-синей, горячей сердцевиной взметнулся вверх. Он дрожал на ветру, но держался, танцуя, освещая усталое человече-

ское лицо, кончик белой сигареты, нахохлившиеся мокрые ветви деревьев где-то на ночной остановке.

Она чувствовала, как внутри нее кипит и испаряется сжиженный газ. Это было сладостное, жертвенное таяние — отдавать себя по капле, чтобы рождать свет. Чтобы на одну секунду стать самым важным предметом во вселенной, согревающим чужие ладони.

Чирк-чирк! — колесико крутилось снова и снова.

Во сне она зажигала костры, которые спасали замерзших путников в лесу. Она касалась фитилей праздничных свечей на именинных тортах, отражаясь в восторженных детских глазах. Она даже представляла себя огромным олимпийским факелом — ведь огонь внутри нее был точно таким же, гордым и древним.

Чирк…

Движение замедлилось. Вспышка озарила темноту в последний раз и лениво погасла.

На столе, в лунном свете, зажигалка слегка качнулась, когда по полу пробежал сквозняк. Ее колесико оставалось неподвижным, металлический колпачок был холодным. Внутри плескалась всего пара прозрачных капель — топлива оставалось на два, может быть, на три настоящих удара кремня.

Но пока ночь продолжалась, она спала. И в этом сне, бесконечном и ярком, ее маленькое сердце билось короткими, жаркими толчками:

Чирк-чирк… Чирк-чирк…

6.

Жить лучше других можно только за счёт других. Это постулат. Он проявляет себя даже в мелочах. Такой безобидный на первый взгляд пример: что значит по-модному быть одетым? Это значит, что твои одежды должны быть дороже, чем у других. Речь идёт о редкости — а это означает и высшую цену. Это означает опять и снова только одно — деньги; деньги, которых больше, чем у других. Речь идёт опять о количестве. Это означает только единственное: что ты должен больше, чем все другие, солгать, украсть, унести, присвоить. Это верно как дважды два. Ибо жить лучше другого можно лишь за счёт того другого. Того, которого ты успел обмануть либо просто у него отнять. Неважен способ. Мы ведь рассматриваем результат.



ПОСТУЛАТ

Ткань пальто была безупречной. Темно-синий кашемир плотностью в шестьсот граммов, сотканный на старой мануфактуре в предместьях Биеллы, где вода из ледниковых ручьев вымывала шерсть до состояния младенческого пуха. Пуговицы — натуральный рог, матовый, тяжелый.

Адриан застегнул верхнюю пуговицу перед зеркалом в прихожей. В стекле отразился человек, чья жизнь удалась. Человек, одетый по-модному.

Слово «мода» для профанов означало кричащие логотипы и смену фасонов каждые три месяца. Для Адриана, человека математического склада ума, мода была чистой дистиллированной жестокостью. Модно — значит редко. Редко — значит недоступно для девяноста девяти процентов биомассы за окном. Недоступно — значит безумно дорого.

А дороговизна всегда упиралась в количество. В числитель и знаменатель. В деньги.

Адриан вышел на улицу, и сухой осенний ветер скользнул по его лицу, бессильный пробиться сквозь итальянский кашемир. У входа в метро — он иногда спускался туда просто для того, чтобы откалибровать оптику своего превосходства, — пахло сыростью, дешевым табаком и печеным тестом.

Люди текли мимо него серыми ручьями. Полиэстер, торчащие нитки, синтепоновые куртки ядовитых или грязно-землистых цветов, купленные на распродажах, где люди толкаются локтями за скидку в тридцать процентов.

Адриан поправил воротник. Он чувствовал этот взгляд. Мужчина лет сорока пяти, с лицом, выдубленным бессонницей и кредитами, на секунду задержал глаза на плечах Адриана. Всего на полсекунды. Но в этом взгляде было всё: зависть, безотчетная тоска и признание поражения.

«Жить лучше других можно только за счет других», — привычно щелкнуло в голове у Адриана. Это был его личный закон термодинамики.

В мире нет бесконечного ресурса. Если у тебя в бокале дорогое бордо, значит, кто-то прямо сейчас пьет подкрашенную воду из-под крана. Если твое пальто стоит четыре тысячи евро, эта сумма не возникла из вакуума. Чтобы эти деньги осели на твоем счете, ты должен был забрать их.

Адриан улыбнулся кончиками губ, вспоминая вчерашний день.

Совет директоров логистической компании. Таблицы в Excel. Столбец «Оптимизация расходов на оплату труда». Адриан лично нашел лазейку в трудовых договорах субподрядчиков — водителей, грузчиков, сортировщиков. Юридически безупречный трюк с переводом на статус самозанятых. Экономия для холдинга — сорок миллионов в год. Премия Адриана за квартал — сорок тысяч. Ровно десять процентов от чужой крови.

Что это было? Ложь? Несомненно. Адриан глядел в глаза профсоюзному лидеру и говорил, что «новая модель позволит каждому зарабатывать больше в зависимости от выработки», прекрасно зная, что выработка физически не позволит им получить даже прежний оклад.

Кража? Конечно. Он украл у пятисот семей их уверенность в завтрашнем дне, их горячие ужины, их возможность купить детям хорошую обувь. Он унес это прямо с их кухонных столов и обналичил.

Присвоение? Да.

Это было верно, как дважды два. Вся эта сложная городская цивилизация, эти неоновые вывески, кофейни третьей волны и сияющие витрины держались на одном простом правиле: отними. Обмани, если ты умен. Вырви из горла, если силен. Оформи через дополнительное соглашение мелким шрифтом, если ты юрист.

Способ не имел значения. Имел значение только результат.

Результат мягко облегал плечи Адриана, пах лавандовым кондиционером и дарил невероятное, почти божественное чувство собственной исключительности.

Он подошел к кофейне. За стеклом сидела девушка в дешевом свитере с катышками на рукавах и с благоговением смотрела на него через панорамное окно, пока он открывал тяжелую дубовую дверь. Она смотрела на его пальто. На его уверенность. На его право жить лучше нее.

Адриан сделал шаг внутрь, окунаясь в тепло и запах молотых зерен, и мысленно поблагодарил тех пятерых сотен дураков, которые сегодня в пять утра вышли на холодные неотапливаемые склады, чтобы оплатить ему этот день.

Постулат работал безупречно.

7.

Краснопузые хамелеончики: их спинки меняют расцветку в зависимости от окружающих обстоятельств, а брюшки — красные...

И потому они свое брюшко прижимают к земле в моменты опасности. Это снова о коммунистах. О внучатах Ильича. Об ильичатах...

Недаром они так лелеют гранитных истуканов на площадях. Ильичата — краснобрюхие ползунки. Низшие — как рептилии. И самые древние — как рептилии. Их не пронимают

ветры перемен, они умеют прижиматься брюшком к земле — и ветры перемен проходят над ними.

Самая древняя ложь — это байка о человеческом равенстве, байка о справедливости, байка о том обществе, где можно отожраться и обрести счастье сытой свиньи.

Христианство обещает рай. Коммунисты — сытость. Коммунизм — это общество сытого желудка. Свинячья байка. В природе подобного не наблюдается.



КРАСНОПУЗЫ

Они сидели в пыли у подножия циклопического гранитного сапога.

Сапог уходил в хмурое низкое небо, принадлежа гиганту с протянутой рукой, чье каменное пальто давно облюбовали серые городские голуби. Ветер рвал и трепал осенние газеты, в которых кричали о рынках, биржах, святости капитала и новой вере. Ветер перемен ломал вековые дубы, сдувал в небытие народы и концепции.

Но здесь, у самого постамента, в глубоких выбоинах гранита, жизнь текла иначе.

Там копошились ильичата.

Если смотреть на них сверху — обычные серые клерки, суетливые пенсионеры в выцветших пиджаках, мелкие чиновники с тусклыми глазами, депутаты в костюмах отлива мокрого асфальта. Их спинки обладали феноменальной адаптивностью. В девяностые они мимикрировали под яростных демократов и владельцев ларьков; в нулевые их чешуя приобрела лоснящийся государственнический блеск; позже — окрасилась в цвета православия и казенного патриотизма. Повернись спиной — и не отличишь от окружающего пейзажа. Чистая серость. Идеальная маскировка.

Но стоило ветру усилиться, стоило грянуть настоящей беде или перевороту, как срабатывал древнейший, еще палеозойский рефлекс.

Они падали ниц.

Они вжимались в мостовую, распластывались тонким блином, растекались по щелям между плитами. Потому что под их идеально адаптированными, маскировочными спинами пряталось оно.

Брюхо.

Оно было кумачовым, влажным, ядовито-красным — цвета первомайского транспаранта, запекшейся крови и дешевой карамели «Барбарис». Этот красный цвет невозможно было смыть ни крещением, ни приватизационными чеками. Он пульсировал в складках их кожи, как незаживающая язва, как печать первородного греха.

Пока буря выкорчевывала идеалистов, поэтов и романтиков капитализма, ильичата просто лежали. Краснопузые ползунки. Их холодные, немигающие глаза-бусинки следили за круговоротом пыли на уровне тридцати сантиметров от земли. Ветры перемен шумели в верхах, а внизу пахло плесенью, гранитом и дешевой вареной колбасой по два двадцать.

— Слышь, Петрович, — прошипел один, чей гребень на затылке слегка отливал значком ветерана труда. — Пронесет?

— Пронесет, — едва шевеля челюстями, ответил Петрович, еще плотнее вминая алое подбрюшье в трещину у сапога Ильича. — Мы рептилии, Коля. Мы до динозавров тут ползали, и после них останемся. Главное — пузо береги. Не отсвечивай.

Их религия была проста, как пищевод дождевого червя. Христиане с их дурацким небом городили замки из покаяния, света и любви — абстрактная муть для тех, кто не умеет жрать землю. Ильичата знали правду, зашитую в их ДНК тем самым лысым терапсидом, что стоял на постаменте.

Счастье — это набитый рубец. Счастье — это когда тепло, темно и дают по талонам, но всем поровну, чтобы соседское брюхо не урчало громче твоего. Рай свиньи у корыта, возведенный в ранг государственной доктрины. Великое таинство комбикорма.

Никакой дух не нужен твари, имеющей желудок. Природа не знает равенства — сильный лев рвет слабую газель, орел падает с неба на полевку. Но ильичата обманули природу: они решили стать биомассой, где каждый — червь, а значит, никого нельзя назначить крайним. Великая серая слизь с алым нутром.

Буря наконец стихла. Пыль осела. На горизонте догорали останки очередного рухнувшего строя, трещали обломки новых храмов и рушились курсы валют.

Петрович медленно, с хрустом сочленений, приподнял плоскую морду. Повел круглыми зрачками в разные стороны — независимо друг от друга.

Чисто.

Кожа на его спине мгновенно среагировала на свет нового дня, покрывшись узором, напоминающим расцветку свежего партийного билета с триколором. Маскировка сработала безупречно. Красное брюшко оторвалось от земли, прячась в складках дешевых брюк.

— Поползли, Коля, — просипел Петрович, тяжело переставляя короткие цепкие лапы. — Надо на собрание успеть. Там гречку выдавать будут.

И сотни, тысячи таких же краснобрюхих теней, шурша чешуей по асфальту, бесшумно потянулись прочь от гранитного истукана. Они расползались по кабинетам, ЖЭКам, трибунам и кухням. Они переживут и это солнце. Они переживут всё.

Потому что ничто не способно убить мечту о полном корыте, пока на земле остается хоть один квадратный метр, к которому можно прижаться брюхом.

8.

До этого газеты сообщали весьма часто и скрупулёзно, описывая в подробностях НЛО и поиски инопланетян, писали, что в московском метро развелись крысы-мутанты, огромные, как собаки, которые наводили ужас на москвичей и грызли электропроводку и коих десантники-афганцы отстреливали из автоматов Калашникова... и прочий бред.

С одной стороны, это можно объяснить как погоню газет за сенсацией с целью привлечения читателей, с другой стороны, можно сказать, что этот одобренный официальным умолчанием бред, превращающий и без того тёмных людей в истуканов, есть суть и цель газетного производства.

Год 1991



ПЕЧАТНЫЙ ТУМАН

Октябрь 1991 года пах сыростью, палёным бензином и дешёвым табаком «Прима». В редакции многотиражки «Голос Замоскворечья» стоял непрерывный треск печатных машинок, сквозь который пробивался глухой кашель главного редактора — Льва Самуиловича.

Молодой внештатник Андрей положил на его заваленный рукописями стол свежую статью. Тема была острой: закрытие литейного цеха, рабочие, оставшиеся без зарплаты, и директор, внезапно переоформивший ведомственный профилакторий на своё имя. Настоящая журналистика, как казалось Андрею. Честная.

Лев Самуилович даже не дочитал первый абзац. Он устало снял очки, потёр переносицу и толкнул листки обратно:

— Не пойдёт, Андрюша. Тоска. Чернуха. Народ и так на взводе, а ты им ещё и завод подсовываешь. Кому это сейчас надо?

— Но это же правда! — возмутился Андрей. — Люди должны знать, что их грабят средь бела дня!

Главред снисходительно усмехнулся, затянулся сигаретой и вытащил из ящика стола подшивку центральной прессы за последнюю неделю.

— Правда, говоришь? А вот это, по-твоему, не правда? — Он ткнул толстым пальцем в заголовки.

Андрей скользнул взглядом по полосам. Заголовки кричали, вопили, истекали жирным типографским шрифтом: «Пришельцы над Воронежем: контакт неизбежен?», «В московском метрополитене обнаружены крысы размером с овчарок!», «Ветераны Афганистана ведут ночной бой на станции "Площадь Ногина": твари перегрызают кабели связи».

— Это же клиника, Лев Самуилович, — поморщился Андрей. — Бред сумасшедшего. Какие крысы-мутанты? Какие десантники с Калашниковыми в тоннелях? Метро работает в штатном режиме, я сегодня на «Павелецкой» ни одной гигантской крысы не видел. Это же просто дешёвая сенсация, чтобы тиражи продавать, пока бумага не подорожала!

Лев Самуилович тяжело вздохнул, встал и подошёл к окну, выходящему на серую, размокшую улицу. Внизу тянулась длинная, нервная очередь за молоком. Люди стояли плечом к плечу — угрюмые, в одинаковых драповых пальто, с потухшими взглядами.

— С одной стороны, ты прав, мальчик, — тихо произнёс главред. — Это рынок. Газетам нужно выживать. Кинь толпе чупакабру или летающую тарелку — раскупят за пять минут, ещё и добавки попросят. Рубли обесцениваются, а страх и любопытство — валюта вечная.

Он повернулся к Андрею. Взгляд старого газетчика, пережившего и оттепель, и застой, был пугающе трезвым.

— Но есть и другая сторона, Андрюша. Куда более глубокая. Неужели ты думаешь, что ТАСС и министерские чиновники просто так смотрят сквозь пальцы на то, как государственные типографии тоннами печатают этот цирк? Это ведь одобрено. Одобрено ленивым, равнодушным, но абсолютно осознанным молчанием сверху.

— Зачем? — не понял Андрей.

— А ты посмотри на них, — Лев Самуилович кивнул на очередь за окном. — Они напуганы. Страна, в которой они родились, трещит по швам. Завтра исчезнут вклады, исчезнет закон, исчезнет привычный мир. Если они начнут думать — они придут сюда. Или к Кремлю. Они спросят: «Где наши деньги? Где наша жизнь?». Но если им сказать, что в темноте под их ногами сидят трёхметровые грызуны, а над головой кружат зелёные человечки...

Старик сделал паузу, выпуская струйку сизого дыма.

— ...Тогда их первобытный, тёмный страх обретает форму. Он становится бессмысленным. Они превращаются в истуканов. Сидят по кухням, заряжают банки с водой перед телевизором и боятся спуститься в метро, чтобы их не сожрала собакокрыса. Пока они спорят

о летающих тарелках, мимо них тихо проносят мешки с их собственным будущим. В этом, Андрюша, сегодня и есть суть нашего производства. Производство тумана.

В кабинете повисла тишина, нарушаемая только стуком дождя по карнизу.

Андрей посмотрел на свою статью о закрытом заводе. Буквы казались чёткими, аргументы — железобетонными. Но против чудовищ из тоннелей у рабочих не было шансов.

— И что мне писать? — глухо спросил он.

Лев Самуилович вернулся за стол, затушил окурок в стеклянной пепельнице и вытащил чистый лист бумаги.

— Напиши-ка ты, друг мой, о том, что в тоннелях кольцевой линии путейцы слышали странный ультразвуковой писк. И добавь намёк: мол, десантников уже мобилизуют, выделили два ящика спецпатронов со смещённым центром тяжести. Очевидца придумай — скажем, слесарь Потапов. Народ любит слесарей.

Главред протянул Андрею ручку:

— Давай, Андрюша. Делай истуканов. За них сегодня платят по тройному тарифу.

9.

Смысл человеческого существования — одержать победу, воспеть победу, свою победу. Только это дает успокоение мятежной душе. Война — логическое состояние живой души. Высшее ее проявление. Высшая констатация ее присутствия. Победа же есть подтверждение к сказанному.

Жизнь — это бой. Кто отрицает тезис жизненной битвы, тот дезертир. Трус. Слабый. Вошь. То, что ползает. То, что вечно у ног. Низшая человеческая сортность.

Я сторонник взгляда: человечество предполагает сортность. Люди разных сортов. Как крупа: высший сорт, низший сорт, остальное отличается классом.

Сортность людей есть понятие субъективное (это крайне важно понимать!). И каждый вправе самостоятельно определять (придерживаться) для самого себя эту градацию. Это внутренняя мера, шкала, внутренний (сокрытый от посторонних взглядов, мнений, критики) эталон качества-состояния, который не позволяет индивиду дремать. К примеру, высший сорт относится к идеалу; низший — к обывательщине.

Если сортности людей нет, ее следовало бы придумать (для блага людей). Дабы не дремал наш ленный дух. Дабы от обиды и зависти проснулся бы дух.

Разве общественная иерархия не говорит о сортности ее «постояльцев»? Чем выше — тем выше. Хотя случайности (отрицательные «мутации») встречаются, как известно, повсюду.

Результат жизнедеятельности индивида — как объективный критерий сортности. К примеру, гений есть высший человеческий сорт.

Сортность — крайне циничный термин. Но в шокотерапии совков он явно полезен. Совка надобно раздразнить, растравить, чтобы разбудить его вечно спящий ум. Низшими проявлениями чувств — обидами и завистью — потребно «отстегать» совка, как сытую, тупую умом собаку. Шокировать неожиданно и грубо — да так, чтобы он тут же опустился, извините, на жопу... Осадить. Продемонстрировав силу. Высшую силу.



ИЕРАРХИЯ СОРТНОСТИ

Чашка из тонкого костяного фарфора звякнула о блюдце. Аркадий Львович не пил кофе, он лишь наблюдал, как на темной глади остывающего напитка застывает маслянистая пленка. Напротив него, вжавшись в мягкую спинку кожаного кресла, сидел молодой человек — бледный, с растрепанными после долгой дороги волосами и глазами, полными юношеского смятения.

— Вы рассуждаете о справедливости, Володя, — негромко начал Аркадий Львович. Голос его был ровным, сухим, лишенным всякой аффектации. — Но справедливость — это миф для тех, кто устал бороться. Смысл человеческого существования предельно прост: одержать победу, воспеть победу, исключительно свою победу. Только это дает подлинное успокоение мятежной душе. Война — не катастрофа, это логическое состояние живой души. Ее высшее проявление, высшая констатация ее присутствия. Победа же — лишь подтверждение сказанному.

Володя дернулся, словно от пощечины:

— Но война уничтожает! Жизнь должна стремиться к гармонии, к созиданию...

— Жизнь — это бой, — отрезал хозяин кабинета, даже не повысив тона. — Кто отрицает тезис жизненной битвы, тот дезертир. Трус. Слабый. Вошь. То, что вечно ползает у чужих ног. Низшая человеческая сортность.

Он сделал короткую паузу, позволяя тяжелому слову повиснуть в душном воздухе кабинета.

— Да-да, не морщитесь. Я давний сторонник взгляда, что человечество предполагает сортность. Люди разных сортов, как крупа: высший сорт, низший сорт, а остальное различается классом. Разумеется, сортность — понятие субъективное. Это крайне важно понимать! Каждый вправе самостоятельно определять для себя эту градацию. Это внутренняя мера, скрытый от посторонних взглядов эталон качества, который не позволяет индивиду дремать. Высший сорт стремится к идеалу, низший — утопает в обывательщине.

— Это антигуманно, — глухо отозвался Володя. — Делить людей на категории по собственному произволу?

— Если бы сортности не было, ее следовало бы придумать — исключительно для блага самих людей, — усмехнулся Аркадий Львович, поднявшись из-за стола. Он подошел к панорамному окну, за которым шумел мегаполис: бесконечный поток машин, крошечные силуэты пешеходов, спешащих под серым осенним дождем. — Дабы не дремал наш ленный дух. Дабы от элементарной обиды и зависти этот дух проснулся. Посмотрите вниз. Разве общественная иерархия не говорит о сортности ее постояльцев? Чем выше человек поднялся, тем выше его проба. Бывают, конечно, случайности — отрицательные мутации встречаются повсюду, система не идеальна. Но результат жизнедеятельности индивида остается единственным объективным критерием. Гений — это высший сорт. Тот, кто ничего не создал и никого не победил, — увы.

Аркадий Львович обернулся. В его взгляде не было ненависти — лишь холодное препарирующее любопытство естествоиспытателя.

— Термин «сортность» звучит цинично, согласен. Но в шокотерапии для тех, кто привык к коллективной уравниловке и вечному полусну, он незаменим. Обывателя надобно раздразнить, растравить, чтобы разбудить его спящий ум. Низшими чувствами — завистью, уязвленным самолюбием — потребно отстегать его, как сытую, тупую собаку. Шокировать неожиданно и грубо, осадить так, чтобы он потерял опору. Продемонстрировать силу. Высшую силу воли и интеллекта.

Володя поднялся, тяжело опираясь на подлокотник:

— Вы говорите о людях так, словно они не разумные существа, а дрессированные псы. Нельзя отказывать человеку в достоинстве только потому, что он слаб.

Аркадий Львович тихо рассмеялся — коротко и безрадостно:

— Вы заблуждаетесь в том, что о человеке вы думаете лучше, чем о собаке. Голубчик, не заблуждайтесь! Не обольщайте свой ум иллюзиями. Оставьте этот наивный романтизм за порогом. Человек, лишенный воли к борьбе и победе, — существо куда более нерадивое, чем любой пес. Пес хотя бы верен своей природе. А человек без боя превращается в ничто.

Он вернулся к столу и жестом указал гостю на дверь, давая понять, что аудиенция окончена:

— Идите, Володя. И решите для самого себя: кто вы в этой битве — победитель или корм. Третьего сорта природа не предусматривает.

10.

Религия. Вера. Чудесные обещания на потом... Даже бомж на городской зловонной свалке, помолившись Всевышнему, может оказаться в эйфории грёз, ибо вера не озаряет бомжа, а ослепляет. Спасение в слепоте. Бегство от реалий. Поза перепуганного страуса, который спрятал уши, нос и глаза в песок.



ПОЗА СТРАУСА

Здесь не пахло ладаном. Здесь пахло гнилой капустой, жженым пластиком и сладковатым, липким духом разлагающейся плоти.

Северный полигон твердых бытовых отходов жил своей мерной, утробной жизнью. Скрипели ковши экскаваторов, с металлическим визгом накатывали волны нового мусора, над серыми барханами кружили жирные чайки, похожие на падших ангелов, объевшихся падалью.

В самом сердце этого рукотворного ада, в расщелине между горой старых покрышек и прессованным картоном, сидел Михалыч.

Его пальцы — черные, с въевшейся в трещины грязью, похожие на узловатые корни мертвого дерева — судорожно перебирали четки. Четки были самодельными: вишневые косточки, нанизанные на телефонный провод. Михалыч сидел на корточках, неестественно низко опустив голову, почти касаясь лбом влажной, зловонной жижи, сочившегося из-под мусорного пласта.

Он не прятал голову в песок — песка здесь не было. Он прятал ее в прах цивилизации.

— Отче наш, иже еси… — шептали потрескавшиеся, запекшиеся губы.

Рядом с Михалычем зарычала бездомная собака с содранной на боку шкурой. Ветер бросил в лицо пригоршню едкого пепла от тлеющего внизу полиэтилена. Глаза резало, желудок скручивало спазмом голода — третьи сутки во рту не было ничего, кроме технической воды из лужи. Реальность хватала Михалыча за горло, тыкала лицом в его собственное ничтожество: ты червь, ты падаль, тебя закопают здесь же бульдозером, и никто не вспомнит.

— …да святится имя Твое… — громче забормотал Михалыч, зажмуриваясь так сильно, что под веками вспыхнули багровые круги.

Он глубже втянул голову в плечи. Плечи накрывало рваное пальто, тяжелое от сырости, похожее на свалявшиеся перья огромной, уродливой птицы. Страус на помойке. Птица, которая разучилась летать, но отчаянно не желала видеть хищника, стоящего над ней.

И щелкнуло.

Слепота не наступила сразу — она накатила мягкой, теплой волной, как дешевый спирт, разбавленный глюкозой.

Михалыч перестал слышать чаек. Грохот мусоровоза трансформировался в его воспаленном мозгу в торжественный, гулкий перезвон колоколов на невидимой звоннице. Вонь падали вдруг истончилась, уступив место тяжелому, дурманящему аромату смирны и белых лилий.

Вера пришла не как свет, прогоняющий тьму. Она пришла как спасительная тьма, гасящая невыносимый свет реальности.

«Блаженны нищие духом, — зазвенело где-то в сводах черепа, заглушая урчание пустого кишечника, — ибо их есть Царство Небесное...»

Михалыч улыбнулся беззубым, черным ртом. Эйфория ударила в виски. Он уже не чувствовал холода, пробирающего до костей. Ему казалось, что грязная жижа под его коленями — это хрустальные воды реки Иордан. Он видел Чертоги. Золотые купола, где для него, именно для него, Михалыча, уже накрыт стол из белого мрамора, где не будет очередей за просрочкой, где никто не пнет его тяжелым берцем в ребра, крича: «Пошел вон от баков, скотина!»

Обещание «на потом». Великое, грандиозное «завтра», ради которого можно сгнить «сегодня».

— Спасен… — выдохнул он в мусорную пыль, уткнувшись носом в разорванный пакет из-под майонеза. — Я спасен…

Над ним стоял бригадир свалки в респираторе и тяжелых сапогах. Он брезгливо пнул подошвой торчащий зад Михалыча, укутанный в грязное тряпье:

— Эй, куль! Оглох, что ли? Шевели копытами, сейчас самосвал разгружаться будет, засыпет нахрен!

Михалыч не шелохнулся. Он не слышал бригадира. Он вообще ничего больше не слышал. Его уши, нос и глаза были надежно забиты сладкой, вязкой ватой божественного обещания. Он зарылся в нее по самую шею, чувствуя себя абсолютно неуязвимым в своей абсолютной, беспросветной слепоте.

Где-то наверху взревел многотонный кузов, поднимаясь к серому, равнодушному небу, готовый обрушить на согнутую спину тонны новых отходов.

А Михалыч улыбался в грязь, слушая, как ангелы поют лично для него.

11.

Верующий идёт к Богу. Алкоголик — до «канализации» (фольклор). И каждый из этих двоих есть любопытствующий на своей тропе.



ТРОПЫ

Сумерки падали на окраину города, как пыльное серое сукно. На развилке у старой котельной стояли двое. Дорога влево уходила круто вверх, теряясь в сосновом бору, за которым золотился купол монастырской колокольни. Дорога вправо спускалась в овраг, к промзоне, где за покосившимся забором гудела рюмочная «Канализация» — место, названное так местным фольклором не только из-за близости к очистным сооружениям, но и за удивительное свойство смывать людей на самое дно.

Они знали друг друга с детства. Отец Арсений (в миру — Артем) поправил лямку холщового заплечного мешка. Валера сунул сизые, огрубевшие пальцы в дырявые карманы выцветшей олимпийки.

— Ты все к Нему? — хрипло, щурясь от вечерней прохлады, спросил Валера. От него пахло дешевым табаком и вчерашним перегаром.

— К Нему, Валер. Время вечерни.

— А я вот… в «трубу». Промочить нутро. Говорят, там сегодня Петрович играет на баяне. И Сашка-Хромой спирт раздобыл чистый, медицинский. Не водка — слеза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.